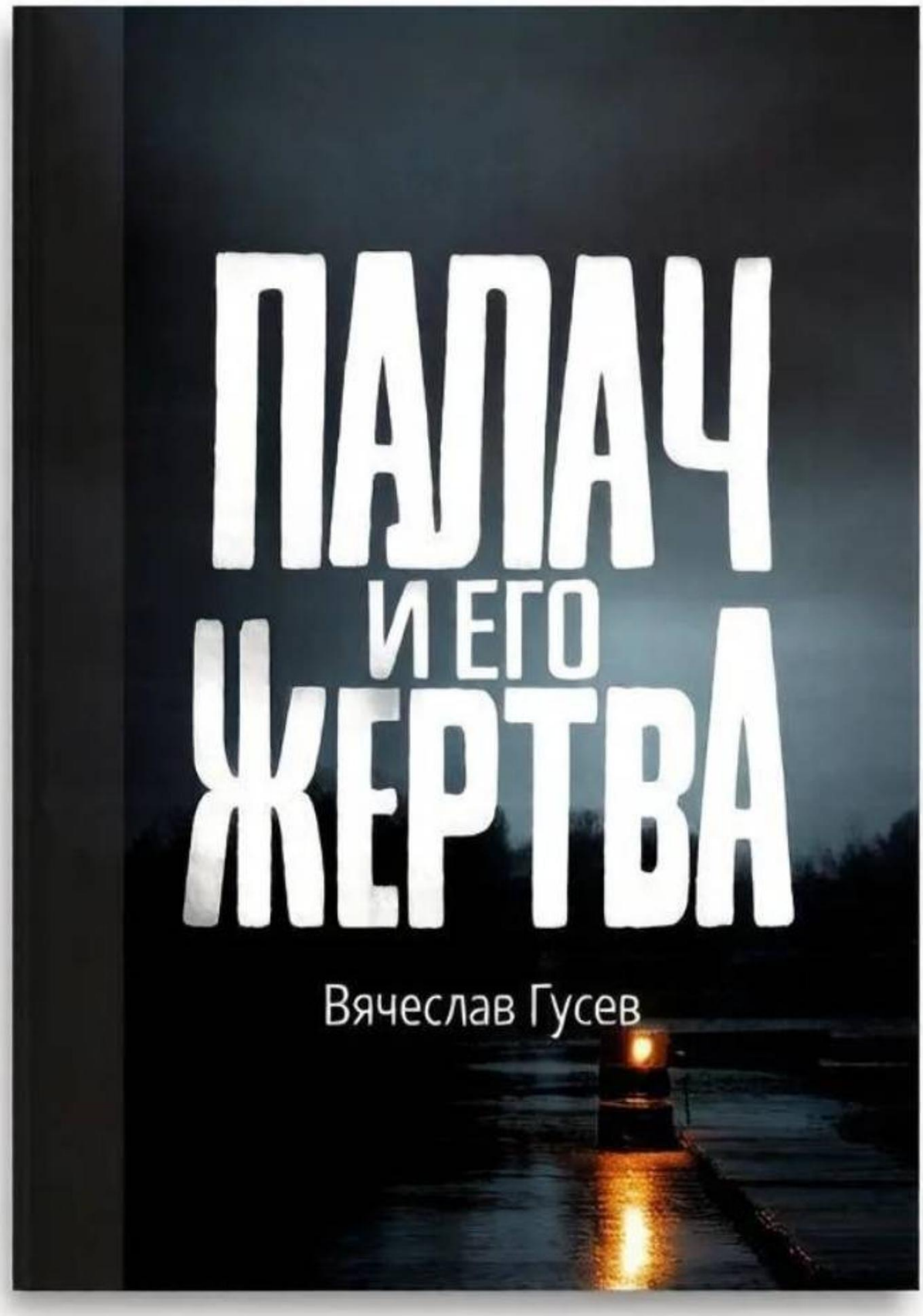

ПАПАЧ
И ЕГО
ЖЕРТВА
Вячеслав Гусев

Вячеслав Гусев

Палач и его жертва

«Автор»
2026

Гусев В.

Палач и его жертва / В. Гусев — «Автор», 2026

Инна Королёва, 42 года, сотрудница реабилитационного центра для подростков, похищена средь бела дня. Через сутки её находят — закованной в наручники в собственной квартире, рядом с телом мужчины, которого она не знает. На её одежде — его кровь. В её руке — нож. Она утверждает, что её держали здесь трое суток, хотя камеры видеонаблюдения показывают: она вошла в подъезд ровно за 17 минут до того, как соседи вызвали полицию.Адвокат требует: признайте её невменяемой. Прокурор настаивает на пожизненном. Сама Инна молчит.

© Гусев В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. 5
Глава 2. 10
Глава 3. 14
Глава 4. 18
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Вячеслав Гусев
Палач и его жертва

Глава 1.

«Маяк» закрывался в восемь, но в спортзале ещё горел один светильник. Инна вернулась за забытой сумкой и застала Лёшу на скамейке: длинный, худой, шнурки распущены, бутылка крутится в руках, как дверная ручка, которую он не решается повернуть.

— Опять ты, — сказала она. — Домой пойдёшь или маме позвоним?

— Она с двух смен выйдет не раньше одиннадцати.

— Тогда спи в дежурке. Койка есть, одеяло есть. Утром накормим.

— А завтра опять яма?

— Завтра яма закрыта. Завтра ты идёшь в секцию. Ты просил с сентября.

— Бокс — это когда можно отвечать?

— Бокс — это когда нельзя бить первым. Разница важнее, чем кажется.

Он усмехнулся — не весело, а так усмехаются, перешагивая лужу. Потом добавил тише:

— А если он придёт снова?

— Куда — снова?

— За мной. Как в прошлый раз.

— Тогда он встретит тренера, меня и наряд. Порядок встреч невежливый, но рабочий.

— А если наряд опоздает?

— Тогда первым успеешь ты. Ты быстрее, чем думаешь.

Он замолчал и посмотрел на бутылку, будто в ней было написано что-то, чего ему рано читать. Инна собрала листы, погасила свет в кабинете и на секунду задержалась у окна: двор, старый паркинг, три фонаря. Два из них горели. В зале пахло пылью, кожей матов и вчерашним чаем из кружки, которую никто не мыл. Под ногами скрипел паркет — старый, немногословный.

У ворот её окликнул сторож — дядя Витя, как звали его все: от семилетних до сорокалетних. Он сидел на перевёрнутом ящике и полировал ключ шкуркой.

— Опять зашкалит? — спросила Инна.

— Не зашкалит. Доведу до конца — и всё, заперто. Теплоцентраль, правда, забыл в подполе, но это уже не ко мне.

Он подул на ключ, поднёс к глазу, проверил на просвет.

— Подвезти тебя, начальница?

— Нет, пройдусь.

— Тёмное время.

— У меня тёмное время каждый день. Чтобы не быть в нём одной — это уже не в твоей власти.

Он усмехнулся в бороду и вернулся к ключу.

— А папку ты опять с собой таскаешь, — сказал он в спину. — Тяжело таскать?

— Носится легко.

— Это пока не проверишь.

Инна вышла за ворота и привычно коснулась застёжки папки — старой, кожаной, ещё с института. Проверка: на месте. Каждую ночь, как сигнал тревоги, только мирный. В папке лежало то, что не нужно никому, кроме неё: вырезки, копии протоколов, один лист со схемой и письмо, которое она так и не отправила. «Если я его потеряю, — думала она иногда, — потеряется и часть меня. Если найдут раньше меня — значит, кто-то уже читал».

Двор был проходной: от центра до дома — десять минут, через паркинг. Она шла ровно, без спешки, и думала о Лёше — у него глаза, как у людей с обещанием: «Скоро всё будет хорошо», только слово «скоро» он пока не умеет расшифровывать. Ключи она переложила из сумки в карман, чтобы не рыться у калитки.

Фонарь на паркинге мигал. Три секунды света, две — темноты. Ритм сбивался, будто кто-то внутри лампы дышал неровно.

— Как выйдешь — так и иди, — сказала она себе. — Свет и есть свет. Даже мигающий.

Она шла и думала о центре — как о доме, у которого нет крыши, а только коридоры. Пятнадцать лет она учила чужих детей говорить «нет» тем, кто сильнее. Сама за это время не сказала «нет» ни одному начальнику, ни одному плану, ни одному пустому обещанию. «Мы ремонтируем, — говорили ей каждый год. — Ремонт — это время». Ремонт растягивался, как резинка: никогда не рвётся, никогда не кончается.

У калитки она остановилась и прислушалась. Двор спал. Где-то далеко тарахтел мотоцикл, ближе — капало с трубы. Обычный вечер, каких у неё тысячи. Она потянула дверь подъезда и почувствовала на затылке сквозняк — от машины, которая проехала слишком близко и слишком тихо.

Она прошла мимо серого фургона — ничего особенного, только на боку масляное пятно. Свет погас, когда она оказалась в метре от его двери. Сзади — руки. Не удар: захват. Ладонь на затылок, вторая — на горло. Мешок пах старой ватой. Укол в шею — холодный, аккуратный. Кто-то снял с её плеча сумку — она услышала, как застёжка папки звякнула о металл фургона. В голове мелькнуло: папка. Папка нужна им больше, чем я. Потом — запах солярки, крепкий, как на причале. Потом — ничего.

Позже в протоколе появится строка: вошла в подъезд за семнадцать минут до вызова полиции. Инна этой строки ещё не читала — и минут тех не считала. Их посчитают за неё.

Проснулась она от звука воды. Не капли — реки. Гудок баржи прошёл сквозь стену глухо, как вздох под одеялом. Она лежала на цементном полу; на запястье — трос, мягкий, обёрнутый тканью. Голова гудела, рот был сухой, как старая бумага. В носу стоял запах бетона и ржавчины — стойкий, как зарубка на дереве.

— Есть кто? — позвала она. — Люди есть?

Тишина. Потом — шаги, засов, полоска света. Голос за дверью — спокойный, ровный, почти вежливый:

— Где диктофон?

— Что?

— Диктофон. Где?

— Я не понимаю вопроса.

— Понимаете. Просто пока не знаете, что понимаете. Подумайте.

Дверь закрылась. Инна осталась в темноте и на секунду даже не испугалась — сначала, как ни странно, обиделась: за пятнадцать лет работы с подростками её допросили хуже, чем допросили бы их. Потом страх дошёл — не сразу, а как вода в подвал: сначала холодно, потом по колено, потом отступать некуда.

Она встала, прошупала стены: бетон, ни окна, ни трубы, только дверь. Нашла бутылку воды и хлеб, свёрнутый в пакет. Хлеб был чёрствый, но съедобный. Пол отдавал холод в спину так старательно, будто он и был здесь сторожем. «Хлеб, вода и терпение, — подумала она с сардонической ясностью. — Значит, они умеют ждать. Значит, торопиться некуда. Значит, я не цель, а место. Цель — где-то рядом, но не здесь».

Время она начала считать по гудкам барж. Потом ритм сбился: гудок, гудок, через два часа — гудок, через сорок минут — ещё. Она засыпала, просыпалась, пыталась считать снова — и счёт ломался, как спичка. Часы кто-то снял с запястья, пока она лежала без сознания; телефон исчез вместе с сумкой.

Она пробовала говорить с темнотой. Темнота была хорошим слушателем: не перебивала, не спорила, не жалела. «Ты умеешь только одно, — подумала она. — Хранить. Как сейф, в котором забыли положить деньги».

— Что мне сделать, чтобы вы говорили со мной? — крикнула она однажды в дверь.

Шаги. Засов. Свет.

— Поговорить. Подождать. Запомнить.

— Кто вы?

— Человек, который умеет ждать.

— Ждать чего? Моей смерти?

— Твоего ответа. Он короткий. Диктофон, где?

— Если бы я знала, я бы не сидела здесь.

— Значит, сидишь зря.

— А вы? Вы сидите за дверью. Тоже зря?

Он не ответил. Дверь закрылась. Инна усмехнулась в темноте — горько, почти с уважением. «Профессионал, — подумала она. — Или дурак, который выучил одну фразу. Но фразу хорошую».

— А почему вода? — крикнула она в следующий раз. — Вы сказали про воду.

Голос за дверью помолчал.

— Река всё помнит, — сказал он. — Люди забывают. Река — нет.

— Это угроза?

— Это память. Разные вещи.

Дверь закрылась. Инна села на пол и обхватила колени. «Он не берёт меня за страх, — поняла она. — Он берёт за память. Страха я боюсь. Памятью — живу».

Ночью — или тем, что она посчитала ночью, — за дверью зазвенел телефон. Голос говорил тихо, но в бетонной тишине слова падали по одному:

— Не найду — верну её в воду.

Пауза. Потом — ещё тише:

— Не сейчас. Сначала вопрос.

Инна замерла. В воду. Гриша тоже был в воде. Ей тогда сказали: утонул, сердце, несчастный случай. Она стояла в темноте, и старая дверь внутри неё, которую она год держала на замке, открылась без скрипа — как будто её смазали заранее.

Она перебрала лица своих подростков, как карты в руках: Лёша с его обещанием, Санёк с его кулаками, тихая Оля из четвёртого набора. Ни одна карта не била. Потом перебрала лица взрослых: Соловьёв — испуганный, пьяный, навязчивый. Гейко — гладкий, как ламинат. Дёмин — вежливый, как судья. Ни одного из них она не видела год. И ни один из них не умел ждать: они умели платить.

Страх был странный — не за себя. За то, что она не знает, за что её держат. «Не знать причину — значит быть вещью в чужом деле, — думала она. — А вещи не защищаются. Вещи просто лежат, пока их не найдут».

Она мерила яму шагами: четыре шага в одну сторону, три — в другую. Углы оббиты коленями — не только её. Кто-то сидел тут до неё и, наверное, считал так же. «Спасибо, что не приковал, — подумала она с иронией, в которой живёт страх. — Только трос. Хозяйственный человек. Экономит».

Однажды она нашла в углу трубу и стучала по ней костяшками — час, наверное, или два. Труба отзывалась глухо, как барабан в соседней комнате. Потом перестала: поняла, что стучит не для спасения, а для того, чтобы слышать себя. Это было почти честно.

— За что мне знать про диктофон? — спросила она темноту.

Темнота не ответила. Река прогудела.

На третью ночь дверь открылась — и луч фонаря вышиб из глаз остатки зрения. Инна прикрыла лицо ладонью; за светом стоял человек, слишком близко. От него пахло рекой и машинным маслом — запахом её собственных ворот.

Голос был ближе, чем раньше. И в нём было что-то до тошноты знакомое — интонация, вежливость, ритм. Но имя на этом голосе не держалось: в связке «похититель» оно не вставало, как ключ не в свою дверь.

— Встать, — сказал голос. — Аккуратно.

Она встала. Ноги подгибались, пол качнулся. Он держал фонарь в левой руке; правая — свободна. Инна сделала шаг — и схватила его за запястье.

Под рукавом — грубый старый ожог. Широкий, как ремень. Она видела его сотни раз: у печки в подсобке, у электрощитка, у ворот центра, когда он ставил ведро и смотрел, как дети бегут по двору.

— Витя? — проговорила она тихо. — Виктор?

— Не ори, — сказал он и не убрал руку. — Ты меня не видела. Поняла?

— Я видела тебя тысячу раз. Ты чинил мне ключ в прошлый четверг.

— Ты меня не видела, — повторил он. — Тебя не было три дня. Ты заблудилась во времени. Люди так говорят, когда время потеряно.

— В это не поверят.

— В это и не должны поверить. Неправдоподобие — тоже инструмент. Я его выучил у следствия.

Он осторожно разжал её пальцы на запястье — не грубо, как снимают бинт.

— Ты три ночи слушал, как я кричу, — сказала она. И голос дрогнул — не от слёз, от ненависти к собственному голосу.

— Я слышал. Кричишь ровно. Даже в темноте держишься.

— Это не комплимент, Витя.

— Это диагноз. Ты не боишься. Значит, тебе есть что терять. Значит, ты не про диктофон.

— Зачем диктофон? Артём?

— Артём говорил с тобой. Он это подтвердил?

— Зачем диктофон, Витя?

Он поднял фонарь — свет упал на его лицо: усталое, гладкое, как вода в колодце.

— Завтра утром ты будешь дома. Через сутки тебя найдут. Со всем, что найдут. Ты скажешь: три дня, темнота, не помню. Тебе не поверят — и это правильно. Суд любит цифры.

— Ты собираешься убить меня?

— Я собираюсь вернуть тебя домой. Остальное — не моё.

— А чьё?

— Ты знаешь чьё. Ты умная. Просто не говоришь.

— Тогда скажи ты.

— Спи, — сказал он. — Тебе завтра в суд чужой смерти.

— Тогда слушай меня, — сказала Инна, и тьма в глазах начала собираться обратно, как вода в воронку. — Дай мне диктофон — я скажу, где папка. Полностью. Всё, что там есть.

Он помолчал. Слышно было, как шуршит брезент у него за спиной.

— Тебе нечего предложить, — ответил он наконец. — Ты предлагаешь то, что уже у меня.

— Тогда почему я ещё дышу?

— Потому что я обещал сыну не становиться тем, чем стал. Обещание — последняя вещь, которую я не отдал. Пока оно живёт — ты дышишь.

Он подошёл ближе. Инна слышала его дыхание — ровное, как у человека, который умел дышать под водой.

— Прости, — сказал он тихо, почти неслышно. — За всё, что будет после этой фразы. И за то, что было до.

Инна кричала ему в лицо имя — то самое, которое не произносила вслух даже для себя. Он не вздрогнул. Укол был мягкий, как извинение. Тьма пришла быстро, но в последний миг — по инерции, как маятник, ещё качнувшийся после того, как остановили часы, — она успела подумать: папка. Они так и не нашли папку.

Глава 2.

Уборщица позвонила в одиннадцать двадцать, вахтёр — в одиннадцать двадцать три. Вызов в службу спасения — в одиннадцать тридцать четыре. Лапшин записал три отметки подряд и подумал, что у смерти, как у электрички, всегда есть расписание: сбои в нём и есть улики.

Квартира встретила его запахом дезинфекции, старых обоев и чем-то тяжёлым, металлическим — запахом, который он не называл тридцать лет, но узнавал с порога, как голос по телефону. В спальне горела лампа дневного света: холодная, честная, никуда не спешащая. Полироль и отутюженный брючный гардероб в прихожей — признак того, что здесь не жили, а держали оборону.

— Сколько раз поднялись? — спросил он санитара.

— Шесть, судя по накатанным. Или четыре. Я не считал.

— Считайте всегда. Считать — единственное, что нам остаётся.

Труп лежал на полу у кровати. Лицо спокойное, до глупости. Убийца стоял вплотную, лицом к лицу, — а лицо не поняло, что произошло, и не поверило. Рядом — кухонный нож с длинным лезвием. Пряжка ремня — на месте. В кармане пиджака — старый список от продавщицы двадцатилетней давности: Дорошенко, Помидоров, Стеклянная Нина.

— Это что? — кивнул Лапшин.

— Ну, люди носят, — осторожно сказал судебный медик. — Живут с бумажками, бывает.

— Пустой дом носит полные бумажки? — Лапшин выпрямился, снял очки, протёр их рукавом. — Здесь нет денег. Даже монеты.

У стены, на полу, сидела женщина — спиной к стене, ноги убраны под себя. Наручники на правом запястье. Глаза открыты, лицо выключено. Он присел рядом, назвался, попросил документы. Она подняла руку — как кукла, у которой разжали пальцы, — и всё.

— Ушибов нет? — спросил он у медсестры.

— Ни царапины. Как её смерть не трогала.

— Бьёт — и не трогает. Странная вежливость.

Три отметки — шесть строк, плюс два молчания. Он встал и пошёл по квартире, как по чужому квадрату, — по правилу, которое сам для себя вывел: не ходить по следу, ходить против логики. Чего тут не хватает? Пыли, смеха, живота. Квартира была как почтовый ящик, в который забыли опустить хоть одно письмо.

Он вернулся в спальню и присел у тела. Кровь — на рубашке и на полу, широким кругом, как будто что-то разлили с большой высоты. Лужа — ровная. Носок в луже — сухой.

— Носок, — сказал он себе.

— Что? — медик переглянулся с экспертом.

— Носок сухой. Кровь — лужа. А носок — сухой.

Лапшин поднялся и посмотрел на женщину у стены. Голенища — сухие. На правом запястье — след от наручников. На левом — ничего. На пальцах — ни капли.

— Как кровь на неё попала? — спросил он у пустоты.

— Может, рядом стояла, — сказал эксперт.

— Кровь не приходит к людям по приглашению. Её носят. На обуви. На руках.

— Ну, а если она была без обуви? Босиком?

— Босиком по этой луже? — Лапшин покачал головой. — Тогда и ступни были бы в крови. А ступни чистые.

Эксперт записал что-то в планшет — быстро, не поднимая глаз. Лапшин понял: человеку стало неуютно оттого, что всё складывается слишком гладко. Слишком гладкое пугает его больше, чем рваное: у рваного есть шероховатость, за которую можно потянуть.

— Соседи что-то слышали? — спросил он санитара.

— Стук. Глухой, один. Потом тишина. Потом крики из соседней квартиры — что свет горит, а человек не отвечает.

— Сколько времени между стуком и криками?

— Минут пятнадцать, наверно.

— Пятнадцать минут, — повторил Лапшин. — За пятнадцать минут человек может допить чай. Написать письмо. Свести счёты. Решить больше ничего не решать.

Он открыл блокнот, провёл чертой и написал три строчки, ровные, как под линейку:

— Труп. Нож. Молчание.

И потом, чуть ниже, — одно слово, мелким почерком, чтобы не бросалось в глаза: «принесли?».

Он смотрел на это слово и понимал, что вычеркнуть его уже не сможет.

Кабинет Лапшина — с одним окном на двор и неработающей батареей. Стол, две тумбочки, лампа без абажура. От батареи тянуло остывающим чугуном — в кабинете было на два градуса холоднее, чем в коридоре, и это правильно: думать в тепле лень. Зелёный чайник, две кружки — на случай, если кто-то из свидетелей захочет быть человеком. Почти никто не хотел.

— Вам двадцать минут, — сказал Лапшин, усаживаясь. — Потом придёт прокурор и заберёт время.

— У вас осталось меньше, чем вы думаете, — отозвалась Веретенникова, поправляя пиджак. — Двадцать минут у вас, а у нас — вся жизнь.

— Адвокатура всегда славилась чувством юмора.

— Я не шучу. Я экономлю время. Двадцать минут — это вам и мне двадцать минут. Умножьте на два.

Инна сидела напротив, спина прямая. Лапшин налил стакан воды ей — не себе.

— Пейте, — сказал он. — На допросе вода полезна. Разговаривать легче.

Она взяла стакан, держала его обеими руками, не пила.

— Вы помните, где были три дня?

— Не помню.

— Как не помните? Вы же вернулись домой.

— Вернулась — да. Где я была — не помню.

— Как это возможно?

— Спросите у тех, кто меня там держал.

— Вы знаете, кто вас держал?

— Я знаю, где меня держали. Похожий звук был в детстве, когда я переезжала в новый дом. Потом и названия потерялись, остался звук.

— Вы всё время отвечаете загадками. У меня нет времени на загадки.

— Тогда не тратьте его. Спрашивайте то, что вам уже известно. Я отвечу, что вы правы. Хоть раз вы услышите приятное.

Лапшин усмехнулся. Потом достал из кармана флешку, поднялся, вставил в компьютер.

— Я покажу вам запись. Вход в ваш подъезд. Время точное, до секунды. Вы вошли.

— Вошла — значит вошла. Время на записи — время на записи.

— Значit, вы там были.

— Я не спорю с техникой. Техника не умеет врать. Врать умеют те, кто её ставит.

Он нажал кнопку. На экране — беззвучная запись: женщина в тёмном пальто входит в подъезд.

— Это вы?

— Похожа. Кто я, если не я?

— Вы.

— Значит, я была там семнадцать минут. И за эти семнадцать минут успела убить, схватиться за нож, выпить и заплести волосы.

— Вы не помните, где были?

— Я помню, что меня там не было.

Он замолчал. Внутренний голос, сухой, как его почерк, подсказал: она не спорит с фактом. Она спорит с версией. И если версия — «семнадцать минут», то где логика? Кто входит в дом, убивает, ждёт соседей и полицию? Никто так не делает. Люди, которые так делают, — умирают раньше, чем их находят.

Веретенникова смотрела на запись так, будто ждала её всю дорогу. Лапшин впервые подумал, что она не защищает — она ведёт.

— Значит, меня не было, — повторила Инна ровно, как арифметик, и отвернулась к стене.

— Значит, — сказал он.

— Вы же следователь, а не актёр, — шепнула ему на выходе Веретенникова. — Вы хоть понимаете, что сделали?

— Я показал запись.

— Вы показали человеку, который не хочет помнить, что его там не было. И теперь он будет помнить, что его там не было. Вы превратили молчание в утверждение.

— Я задал вопрос.

— Вы решили за него. И решать теперь будете не вы.

— Я буду решать то, что решаю. А она решит, что решает она.

— Странная у вас в следствии бухгалтерия, — сказала она тихо. — Хочется всему найти цену. А у правды цены нет. У правды есть только срок.

У двери он обернулся: Инна всё так же смотрела в стену. Не удивлённая. Не защищающаяся. Ждущая.

К вечеру в коридоре прокуратуры гудели камеры. Кравец вышел к журналистам в выглаженном костюме и сказал фразу, которую через полчаса передали все каналы: «Это месть из прошлого. Месть всегда возвращается — и всегда опаздывает на закон». Лапшин смотрел повтор по телефону в приёмной и думал: опаздывает ли месть? Месть, может, и опаздывает. Справедливость — почти никогда. Она просто приходит в гости, когда все разошлись по домам.

— Пожизненное, — сказал он вслух пустому коридору и услышал, каким плоским получилось слово.

В архиве главного управления пахло бумагой, пылью и чьим-то остывшим кофе, заваренным, кажется, в прошлом году. Лампы гудели вразнобой, и от этого архив казался длиннее, чем был. Лапшин работал один — напарник уехал в дежурку, оставив на его столе недопитый чай и наклейку с котом, надписью «понедельник» и телефоном пиццерии. Смешно. Иногда он думал, что и сам уже почти наклейка.

Артём Соловьёв, тридцать четыре года, судим не был. Хирург. Образование — красный диплом, операция на щитовидке за год до смерти, зарабатывал больше, чем следователь за полгода. Работал в республиканской больнице. Три рекомендации: «прекрасный профессионал», «вежливый коллега», «аккуратен с пациентами».

И ниже — другая жизнь. Год назад: дело о групповом избиении, пострадавший — подросток семнадцати лет, Григорий Сомов, спортсмен, хороший друг, любил плавание. Погиб в реке. Тело — через два дня, у причала.

Лапшин листал досье и останавливался на фразах эксперта, вырванных из контекста. «Телесные повреждения, несовместимые с падением». Он прочитал её вслух — тихо, как читают приказ о повышении, — и сразу закрыл папку, будто она запела чужим голосом.

— Кто вас просил сюда идти? — спросил напарник, когда Лапшин вышел в коридор.

— Никто. Сам пришёл.

— Опять?

— Опять.

— А если в следующий раз не придёшь?

— Приведут. Посажу в зал — и всех осудят, включая меня.

Напарник рассмеялся. Лапшин не улыбнулся: шутка была не смешная, просто громкая.

— Три фигуранта, — сказал он напарнику. — Соловьёв, Гейко, Дёмин. Присяжные оправдали всех троих за отсутствием доказательств умысла. Ни один не сел. Ни один не попал под статью о соучастии. Ни один не заплатил даже по гражданскому иску.

— А чего ты ждал?

— Честного приговора.

— А он был?

— Был. Честный — и пустой. Честность в этом городе давно в дефиците, она стоит дорого. Только продавали её не суды. Продавали люди.

Он сел и открыл папку с делом Сомова. Посмотрел на последнюю страницу. Потом на предпоследнюю. Потом вернулся к первой и нашёл графу «законный представитель погибшего»: Виктор Сомов, отец, водолаз-спасатель. Ниже — короткая строка: «после оглашения приговора не явился». Ниже — запись из базы: «пропал без вести». Ниже — «погиб при невыясненных обстоятельствах», дата — год назад, через сорок дней после оправдательного приговора. Ниже — «тело не обнаружено».

— Смотри, — сказал напарник, наклоняясь. — Отец пропал без вести. А тело?

— Тело не нашли. Похороны без тела — это ведь похороны. С мной бывало и хуже.

— Какое тело? Которое не нашли?

— Которое не нашли.

— Ты всегда так отвечаешь? Как сводка?

— Всегда, — сказал Лапшин и закрыл папку. — Оправданных в городе ещё двое. И один из них — не в городе. Один, может, вообще нигде. Как тело.

Он вышел из архива на лестницу. За окном шёл снег — крупный, мокрый, деловой, как будто ему за это платили. Лапшин стоял на площадке и слушал, как где-то внизу запирают железную дверь: щёлк, щёлк, щёлк. Три засова. У него в кармане — блокнот, а в блокноте — одно слово, которое он не мог вычеркнуть: «принесли?».

Глава 3.

Утро Игоря Аркадьевича Кравца начиналось по расписанию: в девять — планёрка, в одиннадцать — брифинг, в двенадцать — приём по личным вопросам. Он любил расписание. Расписание не спорит, не оправдывается и не подписывает под себя чужие бумаги.

Зал для прессы был готов: двадцать стульев, сорок микрофонов, живые цветы по вторникам. Кравец вошёл ровно в одиннадцать ноль-ноль, положил на трибуну указку и не взял её. Указка — для тех, кто сверяется с бумажкой. Он держал всё в голове: цифры, даты, фамилии. Голова была его главным активом и единственным поместьем.

— Игорь Аркадьевич, обвиняемая заявляет, что её держали трое суток. Это правда?

— Правда то, что она это заявляет. Заявлять — гражданское право. Отвечать за заявления — суд.

— Источник в следствии утверждает, что хронометраж камеры противоречит её словам.

— Источники в следствии — это, как правило, фантазии людей, не прошедших службу. Камера показывает подъезд. Всё остальное — интерпретация. Интерпретацией я не занимаюсь. Прошу следующий вопрос.

— Вы уже назвали это местью из прошлого. Местью за что?

— За оправдательный приговор. Общество считает, что оправдательный приговор ставит точку. Я думаю иначе: оправдательный приговор ставит запятую. После неё люди начинают писать дальше — своими методами.

— Вы хотите сказать, что она убивала?

— Я хочу сказать, что четыре дня назад в квартире погиб человек. У погибшего нет адвоката, у него осталась только мать. Я работаю для него. Остальное — ремесло тех, кто продаёт заголовки.

— Слухи о давлении на следствие подтвердятся?

— Давление на следствие — это слух. Следствие — это работа. Работа не нуждается в подтверждении, она нуждается в сроках. Сроки у нас есть.

— Какие?

— Достаточные, чтобы ни у кого не осталось желания их обсуждать.

Он держал паузы ровно там, где они нужны. В зале щёлкали затворы — мелко, как град по стеклу. Он ждал этого звука и не чувствовал в нём ничего: двадцать лет вспышек научили тело не моргать.

Внутренний монолог начинался не здесь, а раньше — ночью, перед зеркалом, когда он репетировал фразу про запятую. Он поймал себя на странном: репетировал неделю. Не речь вообще — одну фразу. Почему фразу? Почему неделю? Почему эта женщина со своим ровным голосом заставляет его считать дни, как студент перед экзаменом? Ответа он не находил и записывать ответ не собирался.

Вместо этого пришло другое — и оно всегда приходило без приглашения. Зал суда, год назад. Оглашение вердикта. Третий ряд, второй стул от прохода — пустой. На нём должен был сидеть отец погибшего. Виктор Сомов, водолаз-спасатель, вызван повесткой, не явился. Тогда Кравец почувствовал не облегчение. Тогда у него впервые за карьеру вспотели ладони — на оглашении чужого приговора, на чужой победе. Он записал это тогда на «погоду», и погода послушно приняла вину.

— Ещё вопрос, — сказал он вслух, и зал затих.

— Прокуратура запросила дополнительные экспертизы?

— Прокуратура запрашивает то, что нужно для обвинения. Экспертизы не спрашивают, красивый у них результат или неудобный.

Секретарь подошла вплотную, положила перед ним тонкую папку и прошептала:

— От следствия. Вопросы к хронометражу. Просят вашего визирования.

— Хронометраж — не моя епархия, — сказал Кравец в микрофон, для зала. Потом тише, секретарю: — Оставьте папку. На столе.

Он не смотрел на папку до конца брифинга. Папки лежат и ждут — это их единственная профессия. Он стоял на своём: свет, микрофоны, слово «закон» произносил без нажима, как учили на кафедре. Уходя, он взял папку — как берут счёт в ресторане: не глядя, потому что платить всё равно придётся.

«Меридиан» принимал гостей с полудня. Кравец заказал столик у стены — спиной к залу, лицом к выходу. Привычка старая, из времён, когда у него были дела, о которых нельзя вспоминать вслух даже с самим собой.

Пётр Гейко пришёл в двенадцать сорок — на сорок минут позже, как и положено человеку, который показывает, что время его дороже. За спиной у него — юрист Славин, тонкий, в очках без оправы. Гейко-старший не подал руки.

— Здравия не будет, — сказал он, усаживаясь. — Ты видел, что в ящике показывают?

— Не смотрю ящик. Чаю тебе налью, — Кравец поднял руку, подозвал официанта. — Чай. Торт не надо.

— Артём ходил к следователям. Ты понимаешь, что это значит?

— Понимаю, что он был живой человек и ходил, куда хотел.

— Живые ходят, пока не начали ходить мёртвые. Он ходил к следователям — и через неделю его нет. Ты видишь связь?

— Я вижу совпадение. Совпадения меня не пугают. Меня пугают свидетельства.

— Тогда послушай свидетельство, — Гейко наклонился через стол; от него пахло сигарным дымом и валокордином. — Марк мне звонил ночью. Не спит. Говорит: у Соловьёва была запись. Запись, понимаешь? Он хотел говорить — сам, без вас, без адвокатов. Говорить!

Кравец размешал сахар в своей чашке — шесть оборотов, по часовой. Сахар растворился, ложка звякнула о фарфор. Он заметил, что звон ложки прозвучал в тишине громче, чем следовало.

— Записи бывают разные, — сказал он. — Половина из них — фантазии людей, которым нужен адвокат за счёт заведения.

— Ты не слышишь. Запись про ту ночь.

— Про ту ночь записей не существует. Существуют люди, которые думают, что существуют.

Славин кашлянул в кулак — деликатно, как кашляют перед тем, что нельзя сказать вслух.

— Игорь Аркадьевич, — сказал он тихо. — Девочка снова заговорила. Та, что подписала отказ от показаний. Веретенникова подала на возобновление. Формально — по новым обстоятельствам.

— Девочка подпишет ещё раз, — сказал Кравец ровно. — Я решу, когда.

— Ты решал и год назад, — Гейко выпрямился, положил салфетку на стол, как закрывают счёт. — Посмотри, что решается теперь. Один мёртвый. Второй — в камере, под твоим же обвинением. Третий — в охране, с двумя телефонами и без сна. И при этом следователи ходят вокруг старого дела, как вокруг свежей могилы. Ты это называешь решать?

— Я называю это работать. Работа не всегда похожа на работу. Иногда она похожа на ожидание.

— На чьё ожидание?

— На любое. Плохие новости всегда приходят пешком. Пока они идут — есть время.

Гейко посмотрел на него долго, как смотрят на весы, которые перестали показывать правду.

— Ты стал спокойным, Игорь. Слишком спокойным. Спокойными бывают те, у кого чисто.

— У меня чисто.

— Тогда почему ты не смотришь мне в глаза, когда говоришь это?

Кравец посмотрел. Гейко отвёл первым — и это было хуже, чем если бы отвёл Кравец.

Они разошлись через сорок минут, не попрощавшись как следует. Кравец вышел через служебный вход — мимо кухни, мимо противня с остывающими пирожными, мимо повара, который вздохнул в белую спину поварихи. В лифте он оказался один. Стальные двери сомкнулись, и в них появилось его отражение — выглаженное, аккуратное, с правильно посаженной головой.

Он не захотел смотреть на него. Впервые за много лет — не захотел.

Он поехал не в прокуратуру. Он поехал по набережной, вдоль реки, и смотрел на воду, как смотрят на бухгалтерскую книгу: вода тоже ведёт учёт. Год назад всё было сделано чисто. Лжесвидетели — в суд, экспертиза — в стол, обвинение — такое слабое, что присяжным оставалось только кивать. Чисто — это когда нечего доказать. Так он формулировал это себе тогда. Вторую половину правила он не слышал до сих пор: чисто — это когда никто не должен был умереть.

А умереть успели.

Ночь в кабинете пахла холодным чаем и картонными папками. Кравец сидел один: секретарь ушёл, охрана осталась внизу, свет в коридоре погасили. Он разложил перед собой три телефона — рабочий, домашний и третий, старый, с разовой сим-картой. Третий звонил редко. Когда он звонил, рабочий и домашний он отключал.

Звонок пришёл в ноль сорок. Кравец взял после третьего гудка.

— Слушаю.

— Объект на месте. Хвост чистый. Вопросы?

— Где именно?

— Там, где условились. Дверь не выходит на улицу. Уйдёт — только через меня.

— Гостей нет?

— Никто не приходил. Кроме электрика. Раз в месяц ходит. Свой.

— Хорошо. Не двигать ничего. Ждать команды.

— Понял. Об остальном?

— Запись в порядке?

— Запись там, где должна быть.

— Убедись.

— Я умею убеждаться. Это моя единственная профессия, — в голосе была усмешка, ровная, как линия горизонта. — Вопросов больше нет?

— Нет.

— Тогда до связи.

Он положил трубку и посидел, глядя на телефон. Разговор был правильный. Слишком правильный. Так разговаривают с заказчиком — коротко, без лишнего, выполняя протокол. Он не спросил главного, потому что не должен был спрашивать: зачем ты спросил про запись дважды?

Он вышел в приёмную, сказал дежурному, что до утра его нет ни для кого, включая посетителей с дистанцией, и вернулся. Посмотрел на папку с хронометражем — она лежала на углу стола, ровно там, куда её положила секретарь, и не шевелилась. Папка была честнее людей: лежала там, где положено, и не вела разговоров за спиной. Он не открыл её. Завтра. Завтра он скажет следствию, что хронометраж — техническая мелочь, а технические мелочи решаются не им, и отправит папку назад с вежливой резолюцией. Резолюция была его оружием: одна строчка — и чужая работа перестаёт быть чьей-то работой.

Он встал, подошёл к окну. Внизу двор прокуратуры, один фонарь, мокрый асфальт, на асфальте — лужа, в луже — фонарь. Вода повторяет свет точнее, чем зеркало: зеркало лукавит по договору, а вода просто показывает, что стоит над ней.

Он вспомнил флешку. Год назад, на этапе следствия, из материалов исчезала экспертиза — та самая, с той самой фразой про несовместимость повреждений. Флешка должна была исчезнуть «сама» — по небрежности, по переезду архива, по любой из причин, на которые сыпется бумага. Он отдал конверт. Конверт вернули пустым.

Он тогда не придал этому значения. Пустой конверт — это, может, шутка курьера, это пересылка, это мелочь. Мелочи в его бизнесе не выживают. Теперь мелочь смотрела на него из темноты кабинета и ждала, когда он произнесёт её вслух.

Он сел за стол, открыл личный блокнот — не служебный, тот был под контролем, этот был только его. Записал одно слово: «Королёва». Посмотрел на слово. Потом провёл черту — ровную, от левого края до правого, как перекрывают дорогу.

Он думал, что зачёркивает имя. Он записывал последствия: следствие — это уже последствия. Флешка — это последствия. Пустой конверт — это последствия, написанные чьей-то рукой. А палачи не записывают последствия. Палачи их назначают.

Он закрыл блокнот, выключил лампу и остался в темноте — потому что темнота не задаёт вопросов, а он устал отвечать.

— Пожизненное — это не приговор, — сказал он в темноту. — Это гарантия тишины.

Темнота не ответила. Где-то за окном, на другом берегу, прогудела баржа — коротко, глухо, как человек, которому запретили говорить, но разрешили дышать.

Глава 4.

Стекло в комнате свиданий было толстое, с зелёным отливом, как вода на глубине. Трубки грели ухо и пахли чужим дыханием — терпким, сборным, от всех, кто говорил до тебя. Инна села и положила ладони на стол: так руки не дрожат. Трюк, которому она научила в «Маяке» нервных мальчиков перед допросами.

Веретенникова появилась через пять минут — в сером костюме, с папкой без надписи. Она села, выровняла папку и заговорила сразу, без приветствия: приветствие в этих стенах тратило дорогое время.

— Слушайте внимательно. Линия одна — невменяемость. Назначим независимую экспертизу, расширим диапазон вопросов, добавим травматолога. Ваша память «промыта», вы не отдавали себе отчёта. Это даёт смягчение. Это даёт жизнь вне колонии.

— Я не сумасшедшая. Я устала.

— Усталость — не статья. Невменяемость — это шанс.

— Шанс — это когда тебе нечего предложить взамен. У меня есть. Поэтому это не шанс, а цена.

— Цена чего?

— Правды. Она у меня одна, и я не буду разменивать её на диагноз.

Адвокат открыла папку, посмотрела в неё — не читая, а так, как смотрят в вино, когда не хотят смотреть на собеседника.

— Вы не первый мой клиент, который играет в героя. Игра кончается пятой колонией.

— Я не играю в героя. Я жду.

— Чего вы ждёте, Инна Сергеевна? Настоящего следователя? Полиции чудес? Здесь работают сроки и протоколы.

— Протоколы пишут люди. Людей можно ждать. Люди ошибаются, люди передумывают.

— Люди предают. Я их знаю лучше, чем вы своих подростков.

— Тогда вы знаете, что предают не сразу. Сначала они молчат. Молчание — не признак вины. Молчание — это место, где прячется ответ.

— Что вы предложите взамен молчания, если я вам его отдам?

— Конец. Быстрый, вежливый, без брифинга. Лечение, не суд. Дом, а не камера.

— Дом — это не место. Дом — это то, с чем вы умеете жить. Со лжи дом не строится. В нём сквозит.

— Инна Сергеевна, вы сегодня впервые за пятнадцать лет говорите на языке не воспитателя, а подозреваемой. Вас уже поменяли, или это тоже часть плана?

— Меня поменяли год назад. Вы просто поздно заметили.

— Когда придёт время — тебя уже утащат в дурку. Говори мне. Здесь стекло, но стекло прозрачное только с этой стороны.

Инна посмотрела мимо стекла — на коридор, где конвоир мерил шагами плитку: четыре шага, разворот, четыре шага. Ритм его шагов был ровнее, чем гудки реки. Она поймала себя на том, что и здесь считает.

— Мне нужно, чтобы в зале не было лишних глаз, — сказала она. — Камер. Микрофонов. Пока не будет — я молчу.

— Это условие каменного века. Залы пишут всё, иначе суд не существует.

— Существуют закрытые заседания. Существуют прения без публики. Статья есть. Вы её знаете лучше меня.

— Есть. И оно похоронит вас: без камеры нет давления, без давления — нет снисхождения.

— Тогда пусть похоронит меня так, чтобы потом разбудить живых.

Веретенникова отодвинула папку и сложила руки. Молчала долго. Двадцать лет практики не готовили её к клиенту, который отказывается от защиты, как от грязной посуды.

— Кого вы защищаете? — спросила она наконец.

— Мальчика, который не может попросить.

— Он мёртв.

— Тогда тем более никто его не просит. Придётся мне.

Трубка издала короткий сигнал — время. Инна положила её и вышла первой: так было принято, а ещё так оставалось меньше поворачиваться спиной.

Ночная камера начинала жить после отбоя. Свет из коридора стекал под дверь тонкой полосой и не доходил до койки на два метра. Пахло хлоркой, сном соседок и пролитым чаем. В час ночи за окном скрежетал тормозами какой-то грузовик — каждую ночь в одно и то же время, как по найму.

Инна лежала и не спала. Спать она не умела с той ночи, которая всё объяснила, — и в этом был смысл: бессонница держала её честной.

Гриша появился в «Маяке» тихо, как входят в чужую квартиру. Кроссовки на два размера больше, чтобы «доносились», подшитый свитер, зачёс на одну сторону. Первые месяцы он не разговаривал — кивал, помогал, мыл полы в спортзале лучше уборщицы. Она не давила. С молчанием она умела обращаться: не выламывать его, а оставлять при нём дверь.

А потом однажды, в марте, он заговорил о будущем. Сидели у окна второго этажа, внизу бежали дети, Гриша вертел в руках гантельку весом в два килограмма — грел руки.

— Инна Сергеевна, а как вы поняли, кем вам быть?

— Никак. Это поняли за меня. А кем хотел ты?

— Спасателем. Только настоящим. На воде.

— На воде?

— У нас династия. Мой отец спасал. Со дна поднимал людей. Я им горжусь, только стесняюсь.

— Чему стесняться?

— Он же не пожарный. Как будто звание меньше. Он всегда объясняет: водолаз — это тот же пожарный, только огонь снизу. А я хочу так же — только наверх. Плавать выше всех, тренироваться, чтобы меня взяли в команду.

— Тогда тренируйся и говори с отцом. Талант ничего не решает без разговоров.

Он засмеялся — и его смех она потом слышала в каждой тишине, где не хватало голосов.

Река забрала его в сентябре. Сначала он пропустил сессию в секции. На второй день позвонили из больницы. Коридор в больнице пах хлором и цветами одновременно — несовместимые запахи, от которых поднимается тошнота на всю жизнь. Потом — смотровая. Виктор стоял у двери, белый, как выключенный экран, и не мог шагнуть. «Не могу, Инна Сергеевна», — сказал он шёпотом. И она вошла. Сама. Смотрела на мальчика, которому полгода не приходила на день рождения, потому что была на курсах.

Тогда же в коридоре сидела его девушка — Соня, тонкая, в отцовском шарфе. Годом позже её заберут на допрос, и она подпишет отказ: не видела, не слышала, не знает. Инна читала копию этого отказа в папке и не могла понять, где сломался человек: на пороге кабинета или раньше — когда в городе стало ясно, что правду выбирать не будут. «Она была там, — думала Инна. — Она видела. Страх убеждает убедительнее следователей».

Простила она себе тот шаг в смотровую только сейчас, в камере, во сне, который не назвался сном. Из всех её учебных разговоров — «говорите нет», «вы имеете право», «не бойтесь взрослых» — остался один, короткий, последний. Гриша сказал «нет» тем троим. Отказался молчать, отойти, потеряться. «Нет» оказалось последним, что он сказал.

И она думала теперь, что учила его зря — нет, не зря. Учила правильно. Мир неправильно устроил награду. Внутри неё за эти месяцы что-то застыло и переварилось, как металл в форме:

тональность жертвы ушла, её место заняла сталь. Жертва спрашивает «за что». Она больше не спрашивала. Теперь она спрашивала «как».

Грузовик за окном скрежетнул тормозами. Инна перевернулась на бок и повторила про себя, как дают установку: три дня она отработает молчанием, как плиту выстаивают перед кладкой. Молчание — тоже работа. Просто её не видно в протоколах.

Две недели назад. Вечер после закрытия центра: чернослив из компота, доски с мелом, счёты — всё было обычным, до звонка в служебную дверь.

На пороге стоял Артём Соловьёв. Пьяный не в весёлую степень — в страховую: трясся всем телом, как раствор отдаёт. Куртка нараспашку, на вороте — чьё-то пожелтевшее пятно от шампанского.

— Инна Сергеевна. Пустите на десять минут. Умоляю.

— Идите домой.

— Домой я не могу. Дома мне не спится. Пустите — я скажу одно. Одно!

Она открыла шире. Пахло от него валокордином и ночной дорогой. В подсобке она включила верхний свет, пересела на табурет у окна и положила на подоконник диктофон. Миниатюрный, чёрный, кнопку накрыла ладонью — не спрятала: положила так, чтобы он видел. Жест не жестокость, а метод: предупреждение честнее любого контракта.

— Я записываю, — сказала она.

— Записывайте. Пусть будет запись. Пусть будет хоть сто записей, — Соловьёв сел на ящик с ботинками, сжал колени ладонями, как в утюг. — Я хочу снять это с души. Я не хочу в петлю — я хочу спать.

— Спать лечат врачи. Говорите врачам.

— Врачи не знают того, что знаю я.

— Тогда говорите мне. Только быстро.

Он говорил скороговоркой, как будто слова могли выскользнуть, если тянуть. Суммы, которые «собирали» трое — вечерами, в машине, в подъезде его отца. Имена — он назвал третьего, Дёмина, и голос Гейко-младшего, который смеялся в трубку. И потом — последнюю фразу, от которой у Инны похолодели руки.

— Есть голос старше всех. Отцовский. Он сказал: «Закрой вопрос». И я закрыл. Я сделал это — впервые в жизни — руками.

— Кто вам сказал это? Имя.

— Я его не скажу. Я его побоюсь сказать даже стене. Стены слушают, как слушают в прокуратуре.

— Тогда зачем вы здесь?

— Чтобы не остаться один на один с этим. Чтобы хоть у кого-то это отдалось. Чтобы спать.

— Вы хотите спать — вы должны пойти в полицию. Утром. С записью. Я вас поведу.

— По закону? — он усмехнулся, и усмешка вышла кривой. — По закону он вечно непотопляемый. Я видел, как тонут правые. Я видел, как всплывают деньги. По закону надо идти, когда закон ещё живой. А он умер раньше той ночи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.